

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ СЛУЧАЙ НА УЗЛОВОЙ СТАНЦИИ

Связь
между
людьми —
единственное
настоящее
таинство...

Проза Алексея Варламова

Алексей Варламов

Случай на узловой станции

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Варламов А. Н.

Случай на узловой станции / А. Н. Варламов — «Издательство АСТ», 2026 — (Проза Алексея Варламова)

ISBN 978-5-17-186096-7

«Случай на узловой станции» – это не просто сборник рассказов, а целый материк русской жизни, где неожиданно сходятся поезда из разных эпох: от дореволюционной ссылки до лихих девяностых. Немой богомолец и продажный журналист, купеческая дочь, лишенная права голоса, и профессор, продающий Гентский алтарь за дешевую страсть, – герои этой книги никогда не идут прямой дорогой. Они плутают в лабиринтах незнакомых городов, теряются в степи, замерзают на случайных полустанках и находят ночлег там, где не ждали. Алексей Варламов пишет о том, как страшно и прекрасно быть человеком в эпоху, когда «все смешалось, и не стало ни веры, ни безверия». Это пронзительная, почти осязаемая проза о русском характере в духе Лескова, Бунина и Шукшина, где «связь» между людьми оказывается единственным настоящим таинством.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-186096-7

© Варламов А. Н., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Вхождение	6
Тараканы	11
Случай на узловой станции	15
Кальвария	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Алексей Варламов

Случай на узловой станции

© Варламов А. Н.

© Рыбаков А. И., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Вхождение

Зимой на пасеке укладывались рано. Немой дождался, пока все уснут, вышел из дому и побрел через засыпанный снегом луг к разъезду. За полночь он сел в поезд и поздним утром приехал в город.

Существует предубеждение, будто бы город этот состоит из прямых линий и острых углов, но немому все виделось иначе. Он не искал в нем корысти и красоты, и, возможно, оттого ему казалось, что город выстроен неровными концентрическими кругами. Он шел по этим кругам, поначалу они были столь велики, что требовали нескольких часов для их прохождения. Он миновал мосты, пышные дворцы, сады и дивные соборы, но затем круги сузились и вскоре замкнулись в пространстве между тремя каналами. Постепенно в этом блуждании он увидел некую цель, круги вели его вверх по спирали, и каждый из витков давался ему все труднее. Но немой был упрям и продолжал взбираться по лабиринту переулков со смешанными названиями старых ремесел и новых имен. Затем в его восхождении что-то нарушилось, и он потерял дорогу.

Был тот самый час, когда день уже иссяк, но вечер еще не начался, и город, прежде распадавшийся на камни, воздух, улицы и трамвайные линии, обретал внутреннюю цельность. Станным казался этот город, его ветры, рассеивающие тени по незамерзшей воде, его торопливые люди и невысокие набережные, еле сдерживающие большую реку. И немой тоже вел себя странно. Иногда он останавливался и подолгу смотрел на двери и окна грузных домов, слушал говор прохожих и не понимал, о чем они говорят. Ему нравилось глядеть им в глаза, идти им навстречу и за ними следом, но люди скользили мимо, обгоняли и отставали от него, никто не был с ним вровень и не отвечал на его присутствие. Никто не искал и не слушал его шагов, не спрашивал, кто он и зачем, город был насыщен до предела, и в нем не было места лишнему телу. Немой искал, за что уцепиться и куда пристать, но скользкие перила и сточенные стены так же равнодушно избегали его прикосновений и скупающе ожидали, когда его вынесет за их пределы.

Тогда он подумал, что делает что-то не так, вопреки обычаю, и остановился. Людской поток выбил его из теснины стремительного проспекта, и в переулке, растянутом между площадью и каналом, он замер. Только сейчас он понял: город столь велик, что каждого человека он видит единожды, все они исчезают навсегда в подворотнях домов и судеб, – и ему стало жаль их. Каждый прохожий, старик, девушка, ребенок казались ему потерянными, лица, к которым он успевал привыкнуть за несколько секунд совпадения, не обогащали, но размывали его память, в этом городе не было повторения, все было моментальным и распадалось при малейшем прикосновении.

Тогда он пошел в ту часть города, где давно уже никто не жил и дома существовали сами по себе в своей отдельной жизни. Впереди себя немой увидел темное пространство арки и вошел во двор заброшенного углового дома. Он сразу же узнал этот дом – некогда здесь жила одна праведная блудница. Во двор убегали тени, он шел вслед за ними, в дальнем углу горел случайный фонарь, и его свет лишь оттенял черноту внутреннего убранства. Слева была двухэтажная пристройка. Он поднялся на второй этаж и стал искать комнату с уродливым тупым углом и убегающим во тьму острым. Все двери легко открывались, иные, сорванные с петель, стояли прислоненными к стенам, под ногами хрустели обои, штукатурка, в голову ударил затхлый запах покинутого жилья. Он натыкался на мебель, продирался через завалы диванов и шкафов, ноги ступали на тетрадные листы и пыльные газеты с сочным портретом и кратким жирным именем, но комнаты нигде не было. Немой вышел на лестницу и поднялся на третий этаж, в то крыло, где дом смотрел на канаву. Здесь было просторнее, и на пол ложились бледные полосы света от редких фонарей на той стороне канала. Он поднялся на чердак, где

пахло старым сеном и к верхней балке была привязана веревка, петлей спускавшаяся вниз. Из окошка сверху падал отраженный в низком небе свет. Немой подтянулся на балке и вылез на скользкую крышу, к ее гребню вела тесная лесенка.

Сверху город показался ему совсем иным, чем внизу. Он видел неровные склоны сизых крыш, разбитые окна и далекий свет жилых кварталов. На город давило небо, изрезанное обледеневшими проводами, и вдавливало улицы и дома в болотистую землю, и немой ужаснулся, как могут люди здесь жить и не замечать этой тяжести. Он стоял на лесенке, распрямившись и удерживаясь на ветру, но затем, когда из темного провала двора стал пониматься густой пар, он попятился, взмахнул руками и стал неестественно медленно опускаться, опрокидываясь всем телом в пустоту. На самом краю крыши ему удалось вжаться ногтями в какую-то скобу и замереть. Он пролежал так довольно долго, сил подтянуться у него не было, и немой чувствовал, как медленно оползает к краю. А пар из котельной все шел и шел, и уже нечем было дышать, и немой разжимал пальцы, нехотя отпуская потеплевшую скобу.

С реки задул ветер, заметался по проспектам и переулкам, разогнал дым, и немой увидел слева от себя кусок провода. Он ухватился за провод, повис на нем; ветер, зло и яростно ища выход из тесного пространства двора, вытолкнул его тело наверх, и немой скатился в провал на крыше. Из порезанных рук сочилась кровь, немой спрятал руки под себя и стал греть их. Ему было легко и непривычно, и, даже лежа чувствуя, как кружится голова, он забылся. В забытии ему почудились голоса голодных, похожих на старичков детей, которые смотрели на него и покорно усыпали на холодных матрасах.

От этого холода немой очнулся и почувствовал, что хочет пить. Где-то в доме капала в лохань вода. Он пошел на звук, осторожно отталкиваясь от стен. Звук порою приглушался, совсем исчезал, но затем снова возникал, становился отчетливым, почти визжащим, и промежуток между падениями и разрывами капель казались невыносимее самих ударов воды о воду. Немой шел от коридора к коридору, дом гнал его сквозь строй разоренных жизней, вырванных с мясом звонков, оборванных телефонных разговоров, счастливых ночей и ночных арестов, хлебных карточек и казенных вестей. Он искал место, где была вода, но что-то заговаривало его и сбивало с пути. В тишине он услышал, как плачет и зовет женщина, и тотчас же дом отозвался на ее плач, стали клониться стены и задрожали доски под ногами. Поднявшийся ветер поволок по полу газетные листы, раздувая, как полотнища, портреты лукавых вождей в защитных френчах. Он бросился прочь, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал, обдирая руки. Дом не стал его задерживать, по шаткой лестнице немой сбежал во двор и успокоился. Пить больше не хотелось, жажда сменилась мыслью о воде, мысль превратилась в воспоминание, а потом ее совсем не стало.

Во дворе горел костер. У огня спиной к дому сидел старик и играл на рожке заунывную мелодию. Он подошел к старику и стал вслед за ним смотреть на огонь. Старик почувствовал чужое присутствие, перестал играть, но оборачиваться медлил. Немой подошел ближе, заглянул в лицо старика и в растерянности протянул ему монету. Старик покачал головой без обиды и сожаления и отстранил его руку. Немой сел рядом на ящик и закурил. Старик молчал, лицо его не выражало досады, он сидел, сцепив перед собой руки и полузакрыв глаза. Немой почувствовал благодарность к его деликатности и, не зная как, но испытывая потребность высказать ее, отошел в сторону и подбросил в костер несколько досок. Старик протянул руки к огню, и иссохшие пальцы с черными ногтями блаженно вздрогнули от ласки дыма. Немой смотрел на его изуродованные руки и думал о том, что слишком долго жил среди меда, пчел и душистых трав и не знал, что где-то есть иная жизнь, и теперь, сталкиваясь с ее памятью, истоптанным снегом, гололедом и огнем, он ничего в ней не понимает и не может войти как равный.

Старик меж тем подошел к дому и стал слушать. Молчание разделявших их нескольких метров стало невыносимым, и немного потянуло изнутри крикнуть, что там в доме кто-то остался и ждет, так плачет женщина, и чтобы не видеть того, что произойдет, он сунул руки в

огонь и, задохнувшись от боли, вонзил их в снег. Но и тогда он слышал, как старик шагнул на лестницу, поднялся на ступеньку, и вслед за этим лестница не выдержала, надломилась и рухнула. Старик поднялся и, не отряхиваясь, пошел со двора.

Костер потух внезапно, без признаков агонии, словно что-то нарушилось в законах горения. Немой посидел еще немного над остывшим кострищем и пошел дальше.

Он долго шел по змеиному ободу канала, переходя с одной стороны на другую и нигде не задерживаясь. К ночи город избавился от всего лишнего, наносного, смирился и возвысился, и ему стало жутко в этой чистой пустынности. Он вспомнил о том, что его могли уже хватиться и начать искать, и эта мысль заставила его идти все быстрее. Он почти бежал, хоронясь в глухих переулках, переводил дух в тени и быстро проходил через полосы света. Раньше он мог затеряться, смешаться и сойти на нет в городских круговертях, но теперь он был беззащитен и раздет под пристальным взглядом фонарей. Он догадывался, что город может в любую минуту отказать ему в укрытии, выдать его в руки тех, кого он бежал. И его привезут обратно на сытую пасеку, где пчелы обирают мед и время и прячут их в ульи, где никогда не бывает холода и войны и единственную боль приносит редкий укус раздраженной пчелы. И никогда больше он не найдет в себе силы уйти оттуда и проживет долгие, безгрешные годы среди людей, давно потерявших нужду произносить слова.

Он покинул улицу и пробирался по длинным проходным дворам, тянувшимся параллельно мостовым. Сверху доносились людские крики, там пили, ели, увеселялись, ссорились и сходились, сжигали деньги, слова и самих себя. Иногда эти же люди встречались ему внизу, группы подростков с нелепыми прическами и металлическими побрякушками, тревожные женщины и шальные девицы. И над всем этим была музыка злых и жестких звуков и мыслей, от которых пахло тем же разорением, как от портретов в брошенном доме. И эта музыка подчиняла немого, его тянуло к ее людям, он пытался обратить на себя их внимание, но снова никто не замечал его, и немой проклинал свое молчание.

Дорогу ему внезапно преградила площадь. Мелкий снег косо летел от фонаря к фонарю, площадь была необычайно просторна и чиста, немой замедлил шаги, осторожно осязая непривычную гладь под ногами. Все плыло перед глазами от голода и усталости, немой стоял напротив сияющего дома, где снова была та же музыка, и не решался войти. Потом толкнул дверь и очутился в прокуренном коридоре, где его встретил гладкий мужчина с холеными руками. Он смотрел на немого презрительно и зло, и, чувствуя, что его сейчас выставят обратно в холод, немой неуклюже полез в карман и долго искал деньги. Мужчина так же лениво и презрительно взял их и отвел немого за столик в самом центре грохочущего зала. Ему принесли вина и еды, и, оглушенный, разом забывший о голоде, он стал пить. Вокруг слышалась иностранная лающая речь, женский смех, шелест купюр, чирканье зажигалок и скользкий шепоток. Немой сидел на краешке стула и думал свою думу. Он знал, что к нему должна подойти развратная женщина и сесть за стол. Это будет страстная, горькая женщина с мукой в глазах и распущенными черными волосами. И они допьют вино, женщина ободряюще кивнет ему и поведет к себе домой. Там он покажет ей самое ценное, что у него есть, – золотой медальон, выменянный когда-то очень давно у беженки на мед, и глаза женщины сделаются маленькими и жадными, она возьмет медальон, и после того, что произойдет, он заговорит. Она научит его говорить чисто и красиво, и тогда он спасет ее от разврата, он спасет весь этот город, всех его измученных, усталых людей, он расскажет им про иную жизнь, и сила его слов будет столь велика, что мир разом переменится и станет таким же целебным и благоухающим, как мед.

Он увидел ее в глубине зала, она сидела с какими-то невообразимо пошлыми, лоснящимися людьми, и, качаясь, немой пошел прямо туда. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как холеный мужчина схватил его и поволок к выходу. Немого обдало волной смешанных хохота и брезгливости, и он стал медленно сползать к ногам вышибалы. На скользкой уличной сцене он упал на лед и затих. С него осторожно сняли часы, обшарили карманы,

вынули из-за пазухи медальон, оттащили тело в сторону и оставили лежать. Когда люди в черных полушубках отошли и ласковый гул мотора стих, он привстал, оглянулся и скользнул в проход между домами. Улица, куда он вышел, несколько раз изогнулась, отбрасывая его от стенки к стенке, но затем выпрямилась и стала спускаться вниз. В конце она точно бросалась в канал, но у самой воды одумывалась и замирала. Немой тоже остановился и долго смотрел на воду, по которой стелился грязный пар.

Стало холодно, и он медленно побрел через город. Дом показался внезапно, мелькнул в стороне, но немой успел разглядеть его и, перейдя по деревянному мосточку, вошел в подворотню. Он попытался заново развести костер, но пламя, не успев взяться, гасло. Тогда он вспомнил, каким оно было несколько часов назад, и присел на ящик. Холод, такой неприятный, покуда он шел по ветреным набережным большой реки, стал дурманить, ласкать его и клонить голову. Немой чувствовал, как теряет свое здоровое, сильное тело, но не испытывал к нему никакой жалости, ему стало свободно и легко, как будто он долго кувыркался в стогах июльского сена. Но вдруг что-то разом оборвалось, тело стало сырым и тяжелым, и он упал на снег. Немой поднял голову и увидел над собой женщину. Это была та самая женщина из ресторана, но много постаревшая.

– Пойдем, – сказала она, – уже поздно.

Немой не шевелился.

– Пойдем же, – повторила она устало, – тебя могут забрать.

Он вспомнил грубые руки в перстнях, тело собаки на мостовой, брезгливые, сытые голоса, вздрогнул и пошел за ней. Она вела его за руку по надломленной лестнице, по дому, где он бродил и искал Сонину комнату, но теперь дом чем-то переменялся, точно расступаясь перед его провожатой. Присмирели и неподвижно лежали газетные вожди, и свободным был проход через длинные сквозные коридоры. Квартира, куда они пришли, была невелика, это была даже не квартира, но две расчищенные смежные комнаты прямо над котельной. В одной из комнат горела на столе керосиновая лампа и отбрасывала у темноты несколько стульев и диван. Немного зазнобило, и, не отпуская руку женщины, он упал и затих.

После озноба начался жар, и ему опять захотелось пить. Он сбросил тяжелое одеяло и стал искать глазами, где может быть вода. Женщина принесла ему кружку и молча поставила на табуретку. Он пил невкусную, мутную воду, пил долго, как мог, лишь только б оттянуть необходимость объясниться. Но женщина ни о чем не спрашивала его, она сидела вполоборота к лампе и вязала. Немой стал искоса разглядывать ее. В темноте он не мог видеть ее склоненного лица и определить, сколько ей лет, но изредка останавливавшиеся кисти рук привлекали его внимание. У нее были изящные, озябшие руки с исколотыми пальцами и даже издали видимыми прожилками вен на запястьях.

– Ты немой? – спросила женщина, не отрываясь от вязанья.

Он кивнул и не отвернулся. Он не почувствовал в ее голосе любопытства или испуга и, сцепив дернувшиеся руки, сосредоточился в ожидании. Она подняла голову от вязанья, подошла к окну и проговорила:

– Я вот тоже как немая стала... Нет здесь никого. Раньше ноты брала переписывать, люди приходили, а теперь глаза не видят.

Женщина подошла к керосиновой лампе, скрутила из бумаги жгут и подожгла его. Так же молча и неслышно приблизилась к углу и зажгла лампадку, в ее крохотном красноватом свете немой увидел два потемневших лица, обрамленных серебром. Женщина долго стояла перед образом, потом повернулась и устало заговорила:

– Муж как с войны вернулся, прожил со мной полгода и затосковал. У нас перед самой войной сыночек родился. Уж я как потом себя изводила – не отпустила его, думала, со мной целее будет, и он зимой-то и помер. Я мужу писать ничего не стала, думала, ему и так там тяжело, а если что случится, все лучше знать: сын у него остался. А он как пришел, видит, сына

нет, и говорит мне: «Что ж ты, сама живая, а сына не уберегла?» А у меня и слез-то плакать не было. Я как потом жила: и пила, и по рукам ходила, и топиться хотела, все на сердце тоска. Муж ушел, потом я опомнилась, искать его стала, а его посадили, даже не сказали, за что. Уходи, а не то и тебя возьмут. Потом опять приходили, спрашивали, не возвращался ли он. Я говорю: нет; а они мне: вернется, заявите нам. И всё. Потом уж много лет прошло, дом на ремонт поставили, меня выселить хотели; а куда я пойду? – он сюда вернется, больше некуда. Тут комната одна есть, жуткая, перекошенная, там вода капает, за ночь набегает полведра. Только вот худо – слепнуть я стала, все во двор глядела, да видно, недогляделась. Сгинул где или забыл... Ты чего трясешься, глупенький? Ведь и сказать ничего не может. Ты не горюй, от слов-то зло одно, еще намаешься...

Немой смотрел на ее руки и вспоминал почерневшие, изуродованные руки старика. Он уже давно все понял, но каждый человек встречается в городе единожды, и ему стало покойно при мысли о том, что он имеет право ничего не говорить, не принимать в себя судьбу другого человека, выскользнуть и не знать за собой вины. Но тотчас же его обожгло другое, очень тревожное ощущение, прежде незнакомое, он почувствовал, как непослушный язык шевельнулся во рту иначе, чем обычно, как доверчиво прижался он к нёбу и округлились губы, и усилием воли он сдержал свой человеческий крик. Он сжимал зубы и кусал язык, на глазах выступили слезы, и он застонал. Женщина подошла к нему, обхватила руками его голову, прижала к себе, и день, такой же громадный и бездонный, как город, воскрес в его сознании. И он понял, что стал причастен к его тревогам и невзгодам, что его голос – это люди и дома, эта женщина, блокадные дети, надломленная лестница, старик, каналы, Соня, скользкая сцена и кострище во дворе... Он не знал, что скажет им, чем утешит, в тот момент, который он вымаливал вдали от людей, он не находил ни одного подходящего слова и только услышал, как прошептал, точно сорвалась капля воды в лохань:

– Больно.

Тараканы

У нас на кухне жили тараканы. Днем они где-то прятались, а вечером вылезали наружу. Когда тараканчики встречались, они обнюхивали друг дружку, шевелили усами и ползли дальше по своим тараканьим делам. Папа их очень не любил. Когда он видел таракана, лицо его становилось таким несчастным, будто ему капали в нос алоэ. Мне было жалко папу, но еще жалче таракашек. Потому что как их только не убивали! Травила их мама. Папа даже смахнуть таракана со стола боялся. Зато мама их жгла, била тапкой, поливала кипятком и посыпала плохим порошком. После этогодохлые тараканы лежали кверху лапками по всей квартире. Мама ходила с совком и веником и подбирала их. Но через несколько дней тараканы приходили снова. Папа говорил тогда, что бороться с ними бесполезно, потому что дом у нас панельный и они все равно будут приползать из других квартир.

Я бывал очень рад, когда тараканы возвращались. Потому что мне с ними было интересно. Так же интересно, как, например, с бабочками или кузнечиками. Однажды, когда мама снова начала войну против тараканов, я собрал их в баночку, чтобы спасти от вредного порошка. Тараканы жили в баночке несколько дней, а я бросал им крошки и смотрел, как они их поедают и смешно карабкаются по стенкам. Но потом мама нашла мою банку и выбросила ее. Я очень огорчился и заплакал. Я немного поплакал, а потом увидел, что мама тоже плачет. Я подумал, что и ей стало жалко тараканчиков. Я подошел к маме и стал говорить ей, чтобы она не плакала, потому что они опять скоро вернуться. Но мама заплакала еще больше, и тогда из комнаты вышел папа. Мама стала говорить ему, что ей очень тяжело, она устала одна с хозяйством, папа ее совсем не понимает, у него свои интересы и даже ее собственный сын против нее. Это была неправда, и я так и хотел ей сказать, но папа взял меня за руку, вывел из кухни и сказал, чтобы я шел гулять.

И я пошел к Славке. Славка – мой лучший друг. Мы с ним дружим уже целых полгода. Мы ходим со Славкой на речку и ловим там рыбу. Но с рыбой нам не везет. Это потому, что у нас нет настоящих удочек. Я давно прошу, чтобы мне купили удочку в магазине, а мама говорит, что у меня нет зимнего пальто. Но я же не собираюсь ловить рыбу в зимнем пальто! С речки мы идем к Славке домой и сушим на батарее носки и сапоги. У Славки дома всё очень здорово. У него есть немецкая железная дорога, настольный хоккей и еще одна штукавина, которой нет ни у кого в городе. Это такая приставка к телевизору, а в ней разные там игры. Ее включаешь в телевизор, а по экрану начинает летать мячик, который надо успеть отбить. Вначале я все время проигрывал Славке, потому что он уже натренировался, а я нет. Но теперь мы играем на равных. Иногда с нами играет Славкин папа. Мне очень нравится Славкин папа. Он высокий и с большой светлой бородой. Мне вообще все дядьки с бородами нравятся, потому что они добрые. Я иногда говорю папе, чтобы он тоже завел себе бороду, но папа меня не слушает, начинает сердиться. Когда я вырасту, я буду носить бороду. Славкин папа художник. Он делает картинки для детских книжек и часто дарит их мне. Картинки нравятся мне больше, чем книжки. Потому что, когда на них посмотришь, можно придумать что-нибудь такое здоровское, чего и вовсе нет в книжке. Я очень люблю придумывать что-нибудь такое и иногда рассказываю Славке. Но ему больше нравится просто читать. А еще он изучает английский язык. Зато Славкин папа любит слушать, как я придумываю. Я рассказываю ему свои истории, а он показывает мне свои рисунки. Иногда я сочиняю, а он сразу рисует. Получается ништяк. Славкин папа говорит, что я ему помогаю. А потом Славкина мама зовет нас всех ужинать. У них всегда бывает вкусное, например, сосиски или колбаса. Славкина мама очень хорошая, но я ее немного стесняюсь. Она меня почему-то жалеет. Я слышал, как она однажды сказала Славкиному отцу: «Все-таки это ужасно, как у нас еще бедно живут. Ты подумай, если бы не заказы, нам бы тоже было нечего есть». Все взрослые почему-то жалуются, что в магазинах

нечего купить. Но это неправда. В магазинах очень много консервов, которые я люблю. Особенно в томате. Я могу съесть целую банку. Только мама заставляет есть с хлебом. Но с хлебом не так вкусно.

Однажды я попросил у Славки немного масла для мамы. Все равно оно у них целыми пачками валяется. Я принес масло домой и стал ждать, когда мама откроет холодильник. Она обязательно спросит: «Откуда это масло у нас взялось?» Сначала она, наверное, подумает, что масло купил папа. Но потом узнает, что его принес я, и поймет, что я совсем не против нее. Очень обрадуется. Но когда мама узнала, откуда масло, она очень расстроилась. Еще больше, чем из-за тараканов. Она даже не заплакала, а стала делать бутерброды с этим маслом и кричать на папу, что она не виновата, что в городе нет масла и она не может кормить ребенка чем надо! Потом она вдруг успокоилась и стала спрашивать, чего едят у Славки и чего мне не хватает. Я подумал, что мне не хватает только удочки, которых в магазине навалом. Но вслух сказал, что мне всего хватает и маргарин мне нравится больше, чем масло, а масло я принес ей. Но папа отнял у мамы масло и сказал, чтоб я отнес его обратно туда, откуда принес. Он был очень сердит. Я взял масло, но к Славке его не понес, а пошел в магазин. Я решил попросить продавщицу тетю Зину, чтобы она завтра, когда мама пойдет в магазин, продала ей этот кусок. Но тетя Зина в этот день не работала, а другая молодая продавщица, очень злая, сказала, что она не может так сделать. Тогда я сказал, чтобы она взяла масло себе, и ушел.

Когда я пришел домой, папа позвал меня в свой кабинет и сказал, что нам надо поговорить. Папин кабинет – это часть нашей комнаты, которую отгородили занавеской. Там папа работает, читает или пишет статьи. Когда он работает, он задерживает занавеску, и мама велит, чтобы я не шумел. Потому что папа может работать, только когда в доме абсолютная тишина. Мама очень боится папу, когда он работает, и тихонечко сидит на кухне или уходит к соседке. Папа со мной никогда не играет, но иногда занимается моим воспитанием и интересуется, как я развиваюсь. Папа хочет, чтобы я был развитым и начитанным мальчиком. Он разговаривает со мной об уроках, ругает за тройки и беседует о прочитанных книгах. Папа просит меня, чтобы я рассказывал ему о своих впечатлениях и переживаниях. Но у меня нет никаких впечатлений и переживаний. Папа очень недоволен моим развитием. Иногда он тяжело вздыхает и отпускает меня, а иногда начинает что-нибудь объяснять. Когда я уроки не понимаю, он сердится и говорит, что я пень. Мама с ним раньше спорила, но тогда папа начинал сердиться еще больше и кричать на маму, что она мешает ему заниматься воспитанием сына и он вырастет недорослем.

В этот раз папа стал объяснять мне, что человек живет не только чтобы просто есть и что главное в жизни – это духовная деятельность, чтение книг, науки, искусства. И поэтому современный интеллигентный человек может и должен обходиться без масла и колбасы. Кто такой интеллигентный человек, папа объяснял мне в прошлый раз. Я только понял, что это такой человек, как он, что это очень трудно и что мне интеллигентным человеком никогда не стать. Папа всегда воспитывает меня своим примером. Раз он может прекрасно жить без удочки, значит, и я тоже должен. Потому что я во всем должен походить на папу. Но разве я виноват, что мне нравится ловить рыбу, есть томатные консервы и выдумывать всякие истории? В этот раз папа стал объяснять мне, кто такие мещане. Мещане – это такие люди, для которых самое важное – что-нибудь купить. А если они не могут купить, то мучаются. А все остальное их не интересует. Я подумал, что он говорит про маму, и обиделся.

Папа часто ездит в Москву. Из-за этого они с мамой все время ссорятся. Мама говорит, что он должен привозить из Москвы продукты и одежду. Но папа говорит, что он не желает уподобляться той публике, которая ездит в Москву только для того, чтобы отовариваться шмотками и колбасой. Для него самое важное – это ходить на выставки и в музеи. А деньги, считает папа, стоит тратить только на книги и альбомы по искусству. Когда папа приезжает из Москвы, на него нападает хандра. Он говорит, что жить в нашем городе невозможно, что у нас сплошное провинциальное болото и нет никакого общества, а только алкаши. Папа очень ученый, он

работает в лектории и читает лекции. Но в последнее время на его лекции никто не приходит, и папе разонравилась его работа. Он говорит, что такой работы, которая ему нужна, у нас в городе нет.

Теперь папа стал часто спрашивать меня про Славкиных родителей и особенно про Славкиного отца. Ему, по-моему, очень хочется с ним подружиться. Я ему однажды так и сказал:

– Давай завтра вместе к Славке пойдем.

Папа очень смутился и спросил:

– Это тебя что, Славкины родители просили меня пригласить?

– Не-а, я сам.

Однажды он все-таки пошел со мной. Папа сказал, что он должен представлять себе людей, которые влияют на внутренний мир его сына.

Мне было очень интересно узнать, о чем они будут разговаривать, папа и Славкин отец. Правда, говорил больше мой папа. Он всегда говорит очень красиво. Потому что он очень много выступает и у него хорошо поставленный голос. Я слушал папу и очень им гордился. Папа говорил о значении интеллигенции, о Достоевском и какой-то кафе. Но, по-моему, Славкин отец слушал его не очень внимательно.

Моему папе он не понравился. Я слышал, как вечером он говорил маме:

– Надо ограничить контакт нашего сына с этой семейкой. Типичные дельцы от искусства, никакого интеллекта. И это художник! Только умеет, что зашибать деньги. Я не удивляюсь, что дом у них полон всякого барахла. Еще бы, за каждую книжонку, где он малюет свои низкопробные картинки, ему платят не меньше тысячи! Нет, Наташа, я так больше не могу жить. Что за город, что за нравы! Я здесь пропадаю, я задыхаюсь, наконец, я сопьюсь! Вот он, удел русской интеллигенции – прозябать в нищете, не иметь элементарных условий для работы, убогость во всем. Пойми, я создан для другой жизни, мне нужны умные, достойные собеседники, мне нужна хорошая библиотека, отдельный кабинет, а не эта конура. Почему я должен так жить? А ты еще одного ребенка хочешь! Куда нам? Мы здесь просто все не поместимся. Тараканы еще эти! Не выношу их! Не могу я так больше жить, пойми, моя хорошая, не могу.

На следующий день соседская девчонка сказала мне, что мама договорилась с соседями всем подъездом травить тараканов. Чтоб уж наверняка. Я испугался, потому что подумал: теперь тараканчикам действительно придется плохо и их надо спасать. Я пришел домой, достал банку и стал собирать в нее тараканов. Чтобы быстрее управиться, позвал Славку. Вдвоем мы собрали почти целую банку. У меня был готов план. Если бы было лето или хотя бы весна, то тараканов можно было бы просто выпустить на улицу. Но на улице лежал снег, и нужно было переждать, пока он растает. Я рассказал об этом Славке. Он долго думал, сопел, морщил лоб, и тогда я прямо сказал ему:

– Вот если б можно было их пока у тебя подержать.

Славка еще подумал, подумал и согласился. Я обрадовался, и мы побежали к Славке. Уже в квартире я сказал ему:

– Слушай, Славка, только в банке их держать нельзя. Они там задохнутся. Тащи какую-нибудь коробку.

Славка притащил здоровенную коробку из-под женских сапог. Мы напихали туда газет, накрошили хлеба, полили сгущенным молоком и выпустили тараканов в коробку.

– А они не разбегутся? – опасливо спросил Славка.

– Не бэ, не разбегутся, – уверенно сказал я. – Зачем им разбегаться? У них здесь всё есть. Я к тебе буду приходить, и мы их будем подкармливать. Только знаешь, ты лучше родителям ничего не говори. А как только растает, выпустим тараканов на улицу.

Мы засунули коробку под плиту и пошли играть. Потом пришла Славкина мама и позвала нас ужинать. И тут я увидел, что по полу ползет таракан. Я задрогал ногой, чтобы закрыть его от Славкиной мамы. Но потом я увидел еще одного таракана. И еще раз дрыгнул ногой.

– Ты чего ерзаешь? – спросила Славкина мама. – В туалет хочешь?

Я затих и с ужасом подумал: только б остальные никуда не лезли. Но в этот момент самый глупый таракан пополз прямо по стене, по красивым обоям с картинками, которые специально наклеил Славкин папа.

– Фу, таракан, и откуда они у нас берутся?

А потом она увидела еще одного. За тараканами тянулся след из сгущенного молока. И этот след выходил прямо из-под плиты, куда мы запихнули коробку. Наверное, тараканам стало скучно сидеть в ней и они полезли исследовать всю кухню. Тараканы валили целой стаей по полу, по стенам, по столу. Славкина мама от ужаса закричала, а Славка заревел во весь голос. У меня во рту застрял бутерброд. Наконец я прожевал его и сказал, не сводя глаз с тараканов:

– Теть Люсь, это я во всем виноват. Я не думал, что они так. Я думал, что они никуда не полезут.

Но Славкина мама кричала, не переставая, и на крик прибежал Славкин папа. Он увидел тараканов, узнал, откуда они взялись, и расхохотался. Славкина мама, которая от страха вскочила на табуретку, растрепанная, замолчала. Ее лицо покрылось красными пятнами, она задрожала и зло сказала Славкиному отцу:

– Их же теперь не выведешь, понял? Носит к тебе всяких оборванцев!

Мне стало так жарко, что заболел живот, и я бросился домой.

К Славке с тех пор я перестал ходить. А папа от нас уехал. Он сказал нам с мамой, что как только устроится в Москве, так сразу за нами приедет и возьмет нас с собой. Но я ему не верю. И мама ему тоже, по-моему, не верит и о нем не говорит. А я ничего не спрашиваю. Мама меня жалеет, купила мне в магазине бамбуковую удочку, трехколенную. А чего меня жалеть? По мне, так даже лучше. Потому что никто нам не мешает, и не надо себя тихо вести и чего-то бояться. А когда я вырасту, построю большой дом, где будет много масла, удочек, книг с картинками и ни одного таракана. А еще я подумал о том, что теперь у нас стало много места и, значит, у мамы может появиться еще один ребенок, и тогда станет совсем здоровски.

Случай на узловой станции

Инженера-путейца Георгия Анемподистовича Посельского сослали в Варавинск в конце 1920-х годов. Жена с ним сразу же развелась, и это было для Посельского таким ударом, что все последующие тяготы судьбы он переносил равнодушно и отстраненно. Ему было в ту пору чуть больше сорока, но оттого что мужчины в их роду всегда садели рано, он выглядел старше своих лет. Однако ни одиночество, ни время не вытравили примет дворянского происхождения, сквозившего и в его речи, и в манере держать себя с другими людьми. Надзиравшее за инженером начальство было им вполне довольное. Посельский не вел никакой переписки, не имел в городе знакомых, никуда из Варавинска не выезжал и жил довольно бедно, подрабатывая мелким кустарным промыслом и давая уроки. Когда же срок его ссылки закончился, он остался в Варавинске и устроился работать по специальности.

Варавинск был в ту пору крупным железнодорожным узлом на Транссибе. За сутки по станции проходило огромное число пассажирских и грузовых поездов, часто случались аварии, и к Посельскому отнеслись настороженно. За ним следили, не подсыпал ли он в бую песча, перепроверяли то, что он делал, стремясь уличить в злом умысле, и Георгий Анемподистович решил даже вернуться к починке керосинок и урокам, однако тут вышло постановление, запрещающее работникам увольняться по своему желанию. Ему пришлось остаться, и постепенно он разлюбил свою работу, по которой так тосковал все эти годы, и ни вид паровозов, ни их долгие гудки, ни запахи не волновали его как прежде. Он отработывал положенное и заботился лишь о том, чтобы никто не обвинил его во вредительстве.

С началом войны жизнь его почти не изменилась, Он получил бронь, продуктов на одного ему вполне хватало, прибавилось, правда, работы, и ему даже казалось, что все давно забыли, что он бывший дворянин и бывший ссыльный, потому как война всех объединила и уравнила. Но однажды летом 1942 года, когда приходили особенно дурные вести с фронта, к Посельскому подошел сильно выпивший начальник станции, взял за грудки, угрожающе потряхнул и, ни слова не говоря, пошел прочь. Инженер знал, что этому незлому, но очень недалекому человеку пришла похоронка на сына, и его можно было понять, но именно в этот момент Посельский особенно остро почувствовал, что навсегда останется для этих людей и в этой стране чужим, таким же чужим, как немцы, которых вывозили сюда из Поволжья, и все равно рано или поздно этот или другой начальник отправит его в расход.

Вышло же, однако, иначе. Неделю спустя после этого случая на станции произошла авария, сорвался и ушел под откос товарный поезд. Прибыла специальная комиссия из Новосибирска, установила причины аварии, и в результате был расстрелян начальник станции, а его место было велено занять Посельскому, единственному, чьи знания удовлетворили комиссию, не ставшую ввиду военного времени входить в подробности его биографии.

Посельский отнесся к этой перемене в своей судьбе с тем же стоицизмом, с каким относился ко всем прежним переменам, однако убежденность в том, что его используют лишь потому, что он сведуш, и едва кончится война, как ему тотчас же подыщут замену, не оставляла его. Он не боялся смерти, однако тягостное ее ожидание сделало его ко всему безразличным. Окаменели чувства, и он постепенно заметил, что ничего прежнего в его душе не осталось. Ушли куда-то столь дорогие и важные для него мысли о необходимости разделить участь своего народа и жить собственным трудом, то, из-за чего он остался в свое время в России, пошел служить новой власти и с чем ехал в ссылку, убежденный, что происшедшее с ним есть лишь некоторая трагическая закономерность, справедливое возмездие его классу за многовековое рабство.

Теперь же ничто не волновало и не влекло его, лишь иногда на инженера нападала хандра, и он вспоминал далекую, точно не с ним бывшую жизнь, гимназию, балы, заснеженную

Москву, а наяву видел перед собой составы с оружием, танками, скотом и людьми. Казалось, вся страна пришла в какое-то апокалипсическое движение, и, глядя на муки людей, ехавших много недель в грязных переполненных вагонах, на свой Варавинск, где умирали с голоду дети и жирели спекулянты и рвачи, он ловил себя на мысли, что, может быть, и к лучшему то, что нет у него семьи и не надо постоянно думать, как уберечь ее от голода и стужи. А если опять случится какая-нибудь авария и на сей раз расстреляют его, то никого это не коснется.

Он видел много горя, каждый день его осаждали люди, которым надо было куда-то ехать, везти свой груз, семью, люди, у которых не было билетов, денег, которых обкрадывали или, наоборот, подкидывали детей. Его пытались подкупить, ему угрожали, умоляли, плакали, и Посельский взял себе за правило никогда и никому не помогать, потому что помочь всем он был не в состоянии физически, а сделать для кого-то исключение значило бы неминуемо обернуть это против самого себя.

Так он прожил эти военные годы, превратившись в какой-то сложный и полезный механизм и даже находя в этой работе известное удовлетворение, но в тот день, когда объявили победу, Георгий Анемподистович почувствовал тоску.

С утра шел дождь, и он тупо глядел за окно, где играла гармошка и танцевали бабы, а среди них единственный мужичок привалился к скамье и рыгал. Инженер думал о том, что теперь начнется другая жизнь, непредсказуемая и неизвестная, и ему не будет в ней места. Погруженный в эти мысли, он не сразу заметил вошедшую в кабинет дурно одетую женщину с изможденным лицом и спекшимися губами. Она остановилась в дверях, но потом, поколебавшись, подошла прямо к его столу.

Из ее сбивчивых слов Посельский понял, что она эвакуированная, едет с детьми в Москву и ее сына схватили полчаса назад двое машинистов, когда тот попытался взять масла из буксы, чтобы развести костер.

– Из-за вашего сына могли погибнуть люди, – сказал он, резко повернувшись к женщине, но почувствовал, что говорит не то и глупо читать ей теперь нравоучения, а надо сделать поскорее так, чтобы она ушла и кончился рабочий день, он пришел бы домой, где его будет ждать сегодня молочница – сорокалетняя печальная вдовушка, и они вместе выпьют водки и утешат друг друга любовью, забыв о том, что совсем чужие люди.

– Никто не имеет права приближаться к буксе. С вашим сыном теперь будут разбираться в НКВД.

Она охнула, побелела, видимо, до той минуты еще не представляя, насколько серьезно было все, что произошло, и, вцепившись руками в стол, так что, казалось, никакая сила не оторвала бы ее от этого стола, произнесла:

– Отпустите его.

– Да что вы в самом деле? – обозлился, и не столько на нее, сколько на самого себя, Посельский. – Я-то как могу его отпустить? Идите вон сами и там просите.

Она сидела и никуда не уходила, и он подумал, что сейчас придется кричать, выталкивать ее силой, может быть, звать милицию, и в его кабинет прибегут какие-то люди. Если бы не эта тоска, томившая его с утра, он бы, наверное, так и сделал, но теперь что-то останавливало инженера.

– Вот что, – сказал Посельский, – возьми листок бумаги и напиши, как все произошло. Только живо. А потом штраф заплатишь, и дело с концом.

Она схватила у него листок, заозиралась, ища ручку, и презрительный вопрос «Ты хоть писать умеешь?» застрял у инженера на языке. Что-то необычное, новое или же, напротив, прочно забытое почудилось ему в этой женщине. Она писала, немного наклонив голову и отбрасывая прядь волос, очень быстро и легко, как будто это и было всю жизнь занятием ее огрубевших, но все еще тонких пальцев. Наконец, исписав листок с обеих сторон стремитель-

ным убористым почерком, протянула его начальнику станции с таким видом, точно написанное ею могло действительно что-то значить и не будет выброшено в корзину.

И опять что-то удержало его, и вместо того чтобы спокойно отправить ее, пообещав, что с ее сыном лучшим образом разберутся, он принялся читать и с самых первых строк отчетливо представил себе, как все это произошло. Дождь, ветер, они едут больше недели не в вагоне, не в теплушке даже, а на открытой платформе, женщина и трое ее детей. Готовят, когда поезд останавливается, и надо успеть развести костер, сварить похлебку, всех накормить и снова ехать, прячась за трактором от пронзительного ветра.

Посельский поднял на нее глаза: на вид ей было лет сорок пять, но лицо ее хранило какие-то особые черты, так резко напомнившие ему молодость, Москву, и он вдруг понял, почему так мучительно притягивает его это лицо.

– Вы дворянка? – спросил он по-французски.

Какое-то странное выражение промелькнуло в ее глазах, сперва удивление, потом недоверчивость, страх, мольба, и, верно, поняв, что терять ей уже нечего, она молча кивнула, и Георгию Анемподистовичу стало немного не по себе, когда он представил, что в этот день на забытой Богом станции встретились двое бывших – инженер-путеец, живущий под постоянным страхом расстрела, и эта женщина, привыкшая ездить лишь первым классом и вряд ли предполагавшая, что когда-нибудь ей придется везти своих детей хуже, чем везли скотину.

– Идите к своему поезду, – сказал Посельский, – и ждите меня там.

Она заколебалась, не будучи уверенной, что этот странный человек ее не обманет, но потом вышла все же на улицу, где еще пьянее, отчаяннее и надрывнее играла гармонь и уж совсем разошлись женщины: и те, к кому должны были вернуться мужья и сыновья, и те, кому предстояло до скончания века вдовствовать.

Мальчишка был, по счастью, не в изоляторе НКВД, а в каком-то чулане, куда его заперли машинисты, ушедшие праздновать победу. Он лежал на полу, свернувшись калачиком, и спал, сжимая изо всех сил тряпку как явное доказательство своей невинности. Посельский усмехнулся: какое дело было бы этим гадким, отожравшимся в войну ряхам из НКВД до его тряпки, если у них глаза загорались нездоровым огнем, едва они только слышали слово «букса».

Они вышли в коридор, и Посельскому сделалось не страшно, а как-то гадко при мысли, что их могут сейчас увидеть, что-нибудь спросить и догадаться, в чем дело. Но никто не обратил на них внимания, и, когда, хоронясь за вагонами, они подошли к составу, Георгий Анемподистович подумал о странной вещи. О том, что привязанность людей одного сословия к другому, которую большевики называли классовой солидарностью и на которой основали свою власть, не есть, как он всегда полагал, химера. И он помог этой женщине, рискуя собой, только потому, что она так же, как и он, бегала когда-то в гимназию, училась танцевать, играть на фортепиано и говорить по-французски, знала десятки других очень тонких и важных вещей, которые ей совсем негодились, а вместо этого пришлось учиться стирать, готовить, жить в общей квартире и в грязной избе, но наука эта, похоже, оказалась ей не под силу.

Увидев сына, женщина жадно схватила его за руку и стала ругать за то, что он сунулся в эту несчастную буксу, однако по тому, как парень беззлобно и даже снисходительно ее слушал, Посельский понял, что именно благодаря ему они и смогли выжить. И сама мать не столько ругала его теперь, сколько корила. Потом она повернулась к Посельскому и с той старомодной щепетильностью, от которой он давно отвык, отвела его в сторону и спросила, сколько она должна заплатить штрафа.

– Нисколько, – отмахнулся он, закуривая.

– Нет, – возразила она ему, – прошу вас. Мне так будет спокойнее. Чтобы по закону.

Она заметно нервничала, возможно боясь, что он назовет сейчас большую сумму, но старалась держаться с достоинством, и Посельского вдруг охватило раздражение против беспомощности и никчемности их всех, позволивших загнать себя в подпол.

– По закону? – зло отозвался он. – По закону ему дали бы десятку. Вы как живете-то, милая? По закону? А муж ваш где? – спросил он уже совсем бесцеремонно, но давая себе право на эту бесцеремонность.

– Он умер, – ответила она, смешавшись. – Перед войной.

И вдруг снова заплакала, несчастная, уставшая от того, что не было рядом ни одного близкого человека, и, разом ему доверившись, стала рассказывать, как они получили письмо из Москвы, что их комната занята беженцами и тем удалось прописаться, и как она сорвалась, собралась ехать срочно, билетов не было, едва-едва заплатив немыслимые деньги и продав последнее, они получили разрешение ехать на этой платформе, и слава Богу, что так, а то бы просидели еще незнамо сколько в Барнауле.

«Боже мой, – думал он с давно позабытой нежностью, – за что всё это?»

– Вы напишите мне, как доехали, – сказал он, – и осторожнее будьте. Не верьте вы никому ради Бога.

– Но вам же поверила, – ответила она, улыбнувшись, и он поразился тому, как была красива эта женщина.

Громадный состав дернулся и медленно потащился вперед, замелькали чьи-то лица, кто-то прыгал на ходу, и Георгий Анемподистович подумал, что ей ехать еще три недели через пол-России, Бог знает что может с ней случиться и как встретит ее Москва. Он вернулся домой, но мысль об этой женщине его не покидала, он вспоминал ее лицо, ее слезы, ее доверчивость, недетские цепкие глаза ее сына и вдруг поймал себя на ощущении, что остался таким же сентиментальным чудачком и будет жить этим воспоминанием много лет.

Однако некоторое время спустя он почувствовал день ото дня растущую как опухоль тревогу. Она будила его на рассвете и, ненадолго исчезнув, вновь о себе напоминала, и Посельский понимал, что эта тревога связана с той женщиной. Наконец он получил от нее письмо.

Милый, чудесный мой Георгий Анемподистович! Я молюсь за вас день и ночь. С вашей легкой руки наша жизнь переменилась. Сначала было трудно, и я уж совсем отчаялась. Поселившиеся в нашей комнате люди встретили нас враждебно, в комнату не пустили, и нам пришлось жить на кухне и в коридоре. Я решила подавать в суд, но теперь такая необходимость отпала. Они сказали, что скоро уедут сами, а пока что помогают нам и относятся как к родным. Я рассказала им о вашем благородстве, и они согласились со мною, что это мне Бог вас послал...

Дальше читать он не смог. У Посельского потемнело в глазах, он откинулся на спинку стула и стал растирать виски. По радио на всю станцию передавали сообщение из Москвы, где шли на Параде Победы солдаты и бросали к мавзолею вражеские знамена, а здесь, в Варавинске, было жарко, душно и выли по домам солдатские вдовы.

Посельский прижался лбом к стеклу и, подавив первую волну страха, подумал, что жалеть ему не о чем, все именно так и должно было быть, и он знал, что этим кончится.

Неделю спустя за начальником станции пришли, и очень скоро в Варавинске о нем позабыли, только вспоминала его иногда молочница и ставила в открывшейся после войны церкви на всякий случай сразу две свечки: одну за здоровье, другую за упокой.

Кальвария

Карпатская быль

Со всех сторон Лесковец окружали горы, темные от стройных еловых лесов, с нежно-сизыми зимой вершинами, прозрачными речками, лугами и крутыми склонами полей, обнесенных плетнем. Дорога к саду долго вела через мосты, перебегая с одного берега реки на другой, ее теснили скалы и нависшие сверху корни смеричек, она петляла, сужаясь в некоторых местах так, что с трудом разъезжались две подводы. Зимой, когда перевалы засыпал снег, и по весне, когда реки набухали водой и сносили мосты, Лесковец оказывался надолго отрезанным от долины. Люди привыкли к своей заброшенности и жили, словно в особом мире, неторопливо и ни на кого не оглядываясь: строили на склонах новые дома, забираясь всё выше в горы, сажали картошку и сеяли пшеницу и ячмень, разводили овец, ткали, охотились, ворожили. Жили не богато, но и не бедно, парни и девки женились и выходили замуж часто за своих, и полсела были друг другу родственники. Случалось, что к лесковецким девкам засылали сватов из больших долинных сел, и молодухи слыли в этих селах ворожками, знали секреты трав, умели лечить от зубной боли и укусов змеи, могли приворожить парня к девке и поссорить мужа с женой, а ночами им всё снились горы, где хаотично лепились небольшие дома с черепичными крышами.

Только раз в году, на праздник Воздвиженья Креста Господня, в село приходили люди со Львова, с Волыни, с Почаева, со Станислава и с Перемышля, приносили иконы, хоругви и устраивали крестный ход от нижней церкви Архистратига Михаила к верхней Крестовоздвиженской по святому пути Спасителя на Кальварию. По обе стороны долгой, выходящей по склону дороги через каждые полверсты стояли часовенки – каплички, около них молились, пели гимны, читали Писание и вспоминали Христовы страсти. Приезжали епископы и кардиналы, сухие, поджарые, в черных шапочках, с умильными лицами и настороженными глазами, приходили православные монахи из Монавского скита, крестьянки приводили хворых детей для исцеления к Честному и Животворящему Кресту, собирались сотни, а то и тысячи людей, потом жизнь снова замирала на целый год.

И ничто не нарушало течение этой жизни, усыпали одни люди и приходили другие, время от времени умелые плотники подновляли каплички и храм и, умирая, передавали свои топоры и секреты сыновьям, и казалось, будет вечным это поклонение Кресту, но однажды пришедшие на праздник люди числом гораздо меньшим, чем обычно, принесли с собой тревогу и страх начавшейся новой войны, расстрелов и концлагерей.

Немцы прошли Лесковец стороной, но уже поздней осенью в селе появились голодные и нищие женщины, дети и старики. В первую зиму хлеба было вдосталь и давали всем, кто просил, но на следующее лето посеяли меньше обычного и стало не хватать самим. А нищие всё шли и шли и рассказывали о том, что происходило внизу, и просили хлеба и крова, но люди стали пугливыми, мужчины тайно покидали дома, опасаясь немецкой мобилизации, ходили слухи о бандитах и разбое на хуторах, и деревня казалась вымершей.

В один из таких зябких осенних дней, ближе к сумеркам, в село пришла девочка лет тринадцати. Она была одна и точно невменяема, шла, переходя от дома к дому, заглядывая и стуча в темные окна, но всюду ее встречали безмолвие или лай собак. Наконец у крайнего дома она толкнула калитку, вошла во двор и села на крыльцо, опустив голову на колени и подобрав под себя руки. Через некоторое время дверь отворилась, и из дома вышла прихрамывающая худая

высокая женщина в темном платке, надвинутом на самые брови. Женщина пригляделась внимательнее и увидела детское лицо с высоким лбом, острым носом и плотно сжатыми, бескровными губами. Девочка посмотрела на нее равнодушно и устало и приготовилась встать, чтобы уйти, однако хозяйка кивком головы позвала ее в хату.

Хозяйка – в селе ее звали Кудричкой – проснулась, когда в хате стало совсем светло, как только может быть светло тусклым, промозглым осенним утром. Она долго лежала, не вставая и вслушиваясь в тишину, потом слезла с кровати и, привлекая сухую левую ногу, вышла во двор. Кудричка уже давно перестала ведьмачить и только любила иногда вспоминать, как прежде, когда была молодой, в ночь на Ивана Купалу уходила в поле, раздевалась донага и каталась по пшенице, собирая на теле спирт – животворящую силу хлеба, и хлеб в этом месте не родился. На Юрия и в Русальный тыждень она отбирала от коров молоко, и коровы после этого доились кровью или приносили молоко без сливок, и в церкви на службе Божьей старалась встать поближе к священнику, чтобы дотронуться до его одежды, но сколько она ни забирала соков от людей, их худобы и хлеба, все это пожирал маленький черт – выхованок, которого она выносила и вынянчила, как носят другие бабы детей.

Было тогда Кудричке двадцать девять лет, она схоронила мать, жила бедно, и никакой надежды на обычную женскую судьбу у нее не было – никому не нужна была злая, вечно хмурая хромоножка, обделенная Богом и людьми, точно изначально обреченная на одиночество. И от этой великой обиды за девять дней до Пасхи она взяла неразвившееся куриное яйцо-зносок и носила его под левой мышкой, не мылась, не молилась, а когда на светлой заутрене народ вышел из церкви и запел «Христос воскрес», дрожащая, замирая от страха, чувствуя неясное шевеление под мышкой, пошла людям навстречу и пропела, как учила ее старая чаровница Андросиха: «И мой воскрес». И заторопилась домой, ушла, унесла с собой зносок в хату, почувствовала, как треснуло яйцо и невидимый выхованок скользнул из ее рукава и запрыгал по дому, всю ночь грохотал посудой, возился то под печью, то на чердаке, завывал и смеялся. С тех пор он сам носил ей молоко, яйца, деньги, и одинокая Кудричка стала жить не хуже других, обновила хату, перестелила крышу, покрыла ее железом и выстроила новый сарай. Только так вышло, что всю жизнь отобрал маленький зносок и не дал обещанного Андросихой легкого счастья.

«Умирать скоро, – вдруг ясно почувствовала Кудричка, – еще несколько лет, и всё». И ей вдруг сделалось страшно, как никогда раньше, точно увидела она свой последний такой же стылый ноябрьский день и одновременно с этим вспомнила, как мучилась перед смертью прежняя лесковецкая басурканя, передавшая Кудричке свою силу. Старуха уронила голову на руки и стала не стесняясь в голос рыдать, и ей почудилось, что где-то за печью отзывается на ее плач злобным смехом хозяин дома, и болит, мучается от этого смеха живая еще ее душа.

Наконец Кудричка подняла голову и вспомнила о пришедшей девочке. Девочка лежала на печи и слабо дышала – она умирала, хозяйке стало это ясно, когда она раздела ее и взглянула на исхудавшее, покрытое чирьями тело, на восковое лицо с запекшимися губами, и старуха неожиданно почувствовала в душе нечто вроде сострадания к этому несчастному существу и с этим состраданием зависть. Лечить людей Кудричка не умела, она была не ворожкой, но басурканей и могла сделать так, чтобы кто-нибудь заболел или умер, чтобы ребенок стал заикой или не спал по ночам, чтобы у женщины не было детей, и теперь она не знала, как помочь маленькой нищенке.

Старуха затопила печь. Стала греть воду, укутала девочку в козий полушубок и села рядом с ней. Скоро наступила ночь, но Кудричка не ложилась спать и не задувала керосиновую лампу, она сидела на печи, и ей казалось, что она держит в ладонях крохотное, еле теплящееся пламя чужой жизни, а девочка то металась в жару, сбрасывая с себя полушубок, то замирая и переставая дышать, и так прошла вся ночь – выхованок затих под печью и с любопытством наблюдал за старухой, но та сидела не шевелясь, пока к утру в болезни ребенка не

случился перелом. Девочка проснулась вся в поту, приоткрыла глаза, что-то пробормотала, а потом уснула до вечера.

На следующий день Кудричка ошипала курицу и сварила бульон. Она кормила девочку бульоном несколько дней, ухаживала за ней и, когда та пришла в себя, спросила:

– Тебя как звать?

– Стефа, – ответила девочка, еле разжав губы.

– Будешь у меня жить, – произнесла Кудричка полуутвердительно, но Стефа не расслышала ее слов, она снова впала в беспамятство, и еще несколько дней старухе казалось, что она может умереть. Стефа поправлялась медленно и верно, точно оглядываясь назад и не осознавая себя живой.

В конце марта поднялась наконец из долины весна, и холодными ветренными вечерами Стефа выходила во двор и смотрела на звезды, на Чумацкий Шлях, по которому ехали чумаки и рассыпали по небу соль с запада на восток тысячу блестящих песчинок. И на душе у нее делалось ненадолго покойно и тихо, как в далеком, точно не с ней бывшем детстве, и ей чудилось, что откуда-то свыше смотрит на нее нежными глазами мать, качает на руках, тоскует и расчесывает ее темные мягкие волосы.

Так прошло несколько лет ее жизни. Стефа повзрослела, ей исполнилось шестнадцать лет. Она напоминала пересаженное, искривленное, под каким-то спудом выращенное дерево, пробившееся через расщелину, цепляющееся корнями за камни и тянущее ветви к небу. Она была очень набожная, пела в церковном хоре, и вскоре в селе к ней привыкли, полюбили ее, у нее появились подружки, и высокий смуглый хлопец Михайло Лозань заглядывался на нее, когда раскрасневшаяся, взволнованная, она пела на клиросе и молилась. И Стефа, поначалу стеснявшаяся его взглядов, стала несмело на них отвечать, и иногда они гуляли вечерами по селу, и девушка вполголоса напевала родные свои песни и смеялась, слушая говорливого парня.

А старая Кудричка, казалось, была довольна, что Стефа ходила в церковь, она не сопротивлялась даже тому, что в доме появилось на стене распятие и изображение Девы Марии с младенцем, и взъерошенный выходанок не смел тревожить Стефиных снов.

Между тем кончилась война в огромном мире, она кончилась в Германии и в России, но на Западной Украине война все еще шла, люди по-прежнему жались в своих домах, уезжали к родственникам в города, а в маленькой горной деревне не было никакой защиты от вооруженных людей, за которыми охотились армейские спецчасти. По ночам в Лесковце было тихо, но это была не сонная, благодушная и безмятежная тишина покоя – это была настороженная тишина бессонницы и ожидания своих братьев, мужей и сыновей, знакомых и незнакомых людей, тех, что по своей или чужой воле скрывались в лесу и нападали на хутора и обозы, отбирали у крестьян худобу, уже сами не понимая, за что и с кем они воюют. И снова было голодно в селах, и поля зарастали бурьяном. Точно сама история, так долго оберегавшая Лесковец от потрясений, вымещала на нем в эти годы всю свою горечь и зло, и из села увозили в Сибирь правых и виноватых, тех, кто укрывал или просто давал напиток одичавшим лесным братьям.

В эти послевоенные годы перестали приходить на Воздвижение паломники из дальних сел и городов – в середине апреля за два дня до Пасхи сгорела кем-то подожженная Крестовоздвиженская церковь, а тем же летом трактора сломали все двенадцать часовенок, что стояли по обе стороны крестного пути. В селе организовали колхоз, раскулачивали крепкие хозяйства, и крестьяне не знали, где они встретят завтрашний день и что станет с их детьми, домами и худобой. Казалось, от людей отвернулся Господь и наказывал их за грехи, и в ряду этих печальных событий как-то странно отозвалась смерть старой Кудрички.

Она умерла в конце осени, и соседи рассказывали, как несколько ночей ветер доносил из освещенного красным светом дома стоны, смех, раскаты свиста, будто бы видели огромный

огненный шар над трубой и громадных людей в черных капелюшах, уведших за собой несчастную Кудричкину душу. И после того, как Кудричку схоронили, люди облегченно вздохнули, многим стало казаться, что именно старая басурканя накликала на горное село разорение и страх и с ее смертью все беды пройдут, и жизнь будет течь так, как текла вечно. В самом деле, в ту зиму первый раз за долгие годы в Лесковце не было голода, перестали увозить людей, и в горах стихли выстрелы. На святки парни и девки ходили с колядками и щедривками, гадали, их угощали пряниками и наливками, и только не было с ними Стефании.

С девушкой что-то произошло, она стала замкнутой и нелюдимой, не пела больше в церковном хоре, ни с кем не заговаривала и никому не улыбалась, и напрасно ходил около ее хаты погрустневший Михайло Лозань и кликал девушку – она не выходила из дому. Единственным человеком, кто знал истинную причину происшедших со Стефой перемен, был сельский священник отец Василий, которому она исповедовалась на Крестопоклонной седмице Великого поста.

– Грех, грех-то какой, Стефа, – проговорил он, тревожно расхаживая по опустевшему храму, – что ж ты наделала?

– Она мучилась очень, батюшка, – отвечала Стефа, не поднимая головы, – умереть не могла и все звала меня, просила ей помочь, освободить ее. Глаза безумные, сама стонет, кричит, я тогда и не выдержала. А она велела, чтоб я разделась, встала в таз с водой, сняла с себя крест и бросила его на пол. А потом долго что-то говорила, я не помню что. Только худо мне теперь очень, батюшка, и сказать страшно, что вижу и что меня мучает.

– Как же ты с этим жить будешь, Стефа? – прошептал священник. – Ах, лукавый, как он изворотлив, враг человеческий, через милосердие в душу лезет. Добротой они твоей попользовались, а ты и прельстилась.

Девушку вдруг стала бить судорога, глаза ее, смотревшие неотступно в одну точку, исказились ужасом, и она упала на пол, задев рукой лампадку. Священник бросился к ней и, сжимая в руках ее голову, стал торопливо шептать очистительную молитву, потом отвел Стефу домой, уложил ее спать как малое дитя и, когда она заснула, долго ходил по дому, размахивая кадилом, и рука его чувствовала тяжесть, точно держала топор, и на каждый его взмах дом отзывался скрежетом, а на лице Стефы застыл оскал. И отец Василий понял, что лукавый восторжествовал – Стефания против своей воли сделалась басурканей, унаследовав страшную Кудричкину силу.

Накануне Иванова дня из церкви пропала причастная чаша. Перед проскомидией отец Василий осмотрел все в алтаре, но чаши нигде не было. Кроме него и церковного старосты, ключи от церкви были только у Стефы, и в жаркий день отца Василия прошибло холодным потом от страшной догадки, что произошло. Он быстро пошел, не успев переодеться и снять рясу, на окраину села, но хата была пустой, и когда священник переступил через порог, он ощутил внезапную слабость, закачался, и у него едва хватило сил, чтобы выйти и сесть на то самое крыльцо, где несколько лет назад сидела у чужого дома голодная сирота. Он сидел на крыльце, и одна мысль мучила его сильнее всего: почему она пришла именно сюда? И ему чудилось, будто бы он слышит слабый стук в окно своего дома, на который когда-то не вышел.

А Стефу нашли на следующий день недалеко от подножия Кальварии – ее тело висело на дикой груше в саду. Потом уже люди рассказывали, как в последний раз видели ее в церкви вечером перед Купалой: она молилась у двери и не решалась войти в храм.

В ту же ночь она явилась Михайло Лозаню, он видел ее окровавленной, с распущенными волосами и темными пятнами на лице. Явилась она и отцу Василию и долго стояла, опершись о косяк, и священник не решался осенить себя крестным знамением, чтобы прогнать несчастное видение. Наутро в церкви после службы он обратился к прихожанам и напомнил им о давнем обычае отмаливать всем селом ведьму. Ее отмаливали весь июль, август и сентябрь, в Лесковце постились, совершали каждый день службы, и все меньше и меньше оставалось

крови на одежде и руках Стефании, когда она являлась юноше и иерею по ночам. В середине сентября в селе собрали деньги, отрядили плотников, и те построили на месте разрушенной церкви часовню, и в день Воздвиженья люди как прежде пошли на безлесую гору с хоругвями, иконами и крестом и поставили крест в часовне. Той же ночью Стефания явилась ко всем последний раз в белой одежде с просветленным лицом, и на колокольне тихо зазвучал большой колокол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.